
Олег ЕРМАКОВ

ВОСХОЖДЕНИЕ В СИБИРЬ

Рассказ

1

В Сибирь я отправился по стопам предков, но не знал этого. Много позже, в начале девяностых эту семейную тайну открыл мне умерший дядька. Да и тайна-то была тайной скорее по недоразумению. *Мало видим, знаем*, — писал Бунин. Так и есть. И все-таки узнав об этом, я немало подивился: настоящий зов предков.

Но, повторяю, в конце семидесятых я не ведал ничего об этом и на всех парусах мчался в Сибирь. И это была моя первая Сибирь.

В школьные годы пришла мечта о море и о тайге. После восьмого класса собирался уехать в Лиенае и поступить там в мореходку, но что-то удержало. А мой товарищ поехал и поступил, стал мотористом. Завидовал я ему. Но пришел и мой черед. Выпускной школьный вечер позади, сборы, и вот мы с Генкой Тереховым, напарником по походам в клубе «Гамаюн», едем на поезде — на Байкал. Да, в конце концов, на Байкале сошелся клином белый свет. Это и море, там и тайга. Что может быть лучше? Трое суток стучал поезд по стране СССР. Истомленные, мы наконец узрели Море. Синие волны катили на берег. Далеко хрупко проступала изломанная черта гор. Кричали чайки.

Дождаясь отправки парохода «Комсомолец», кашеварили у палатки прямо неподалеку от порта, под горой. К нам прибился *вольный бродяга* Павел. Ну, вообще обыкновенный турист из Перми, кажется. Правда, одиночка. Но именно так он отрекомендовался. Да, простор Байкала дышал волей...

И тут к нам подошли *невольники*. Ну, не полные невольники, а полусвободные: *поселенцы*, один — со стальным ежиком волос и цепким серым взглядом — после убийства, другой — волосатый, высокий, смуглый и кареглазый — после отсидки за грабеж. «И затеялся смутный, чудной разговор...» — как пел Высоцкий. Правда, нож из-под скатерти не показывал никто, не было скатерти, а нож — да, и не один, наши смоленские ножи валялись вместе с походным скарбом. Один ножичек поселенец со стальным ежиком волос и взял, подержал бережно, с какой-то нежностью в руке, меченной синими перстнями, и положил, сказав поучительно:

— Это вы, мальцы, зря ножики разбрасываете, лучше, когда они спрятаны.

А его товарищ углядел желто-синюю пачку московского индийского чая со слонем и восхищенно цокнул. Тут же они предложили нам обмен: пачку плиточного чая на нашу. Нам плиточный чай был в диковинку, и мы легко согласились. А поселенцы тут же извлекли закопченную консервную банку и миниатюрные, чуть ли не антикварные

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.

чашечки. Банкой длинный зачерпнул из ручья, бегущего в Байкал, водрузил ее на огонек, а потом полпачки высыпал в кипяток, поварил немного и разлил чифирь по наперсткам. Предложил и нам. Павел тут же согласился. Я сразу наотрез отказался. А Генка раздумывал, и поселенец со стальным ежиком волос напирал:

— Генка, давай, не жмись, дерни, оно *знашь* как?!

И Генка дернул.

— Ну, ну? А? Ха-ха!.. — смеясь, вопрошал поселенец с покрасневшим носом и расширенными зрачками. — Мотор, мотор бабахает, а?

Второй смеялся, тряс грязными волосами. А первый все говорил, говорил. Рассказывал о буряточках, о штормах, о каких-то драках, о Брежневе, который возвращался после встречи с Картером во Владивостоке по железной дороге и вышел в Иркутске на перрон. А народ ему кричит: где масло, где колбаса, Леонид Ильич?! А тот в трико своем и олимпийке синей сделал так ручкой: бу-у-удет вам масло, бу-у-удет вам колбаса-а!.. Поведал этот бывалый каторжник и трагическую историю медведя, которого носило по весеннему Байкалу на льдине, а потом прибило к берегу, да тут как раз шла бригада железнодорожников с кирками, кувалдами, ломами, — они мишку и забили безжалостно. Рассказывалось это тоже без тени сожаления.

Поселенцы ушли, и Павлуха, мрачней, сказал:

— Держитесь подальше от этих птиц окольцованных. Знаю я эту породу, было дело, в охране служил. С такой улыбкой лучшего твоего корефана на свете он тебе под ребро и сунет заточку.

Генка напряженно сдвигал брови.

— Ну, как? — спросил у него.

— Да-а... Фигня какая-то. Как будто таблеток сердечных нажрался, — признался Генка.

Утром мы распрощались с вольным бродягой и взошли на палубу «Комсомольца». Народу там было много. Все каюты заняты. И мы устроились на палубе с остальными. Здесь были строители-шабашники с рюкзаками и своими инструментами: топорами, пилами, обмотанными тряпками. Были рабочие, едущие на БАМ. Геологи-студенты. И местные жители с детьми, баулами. У одной бабки в мешке визжали поросята. Мы с Генкой шеголяли в подаренных в клубе «Гамаюн» тельняшках — в те времена это был *дефицит*, — курили махорку в трубках, стоя на носу огромного парохода, отсекающего голубые воды Байкала. Знакомились с геологинями. Они смотрели на нас с восхищением, как нам казалось: надо же, все бросили и подались в глушь медвежью. Но под вечер летний Байкал так протяжно дохнул холодом, что мы быстро напялили на себя свитера и штормовки.

Что же было делать? Всю ночь бродить по палубе?

Но у нас были спальники (тоже подарок нашего руководителя клуба «Гамаюн» Шефа, или Владимира Ивановича Грушенко) и палатка. И вот что мы придумали: установили палатку на корме, завязав растяжки за различные скобы и болты на палубе. К нам сразу попросились двое парней, едущих на БАМ, один веселый баргузинский мужик. Двухместная палатка вместила всех. Баргузинский мужик звал одинокого учителя или инженера в шляпе и плащике, с портфельчиком, но тот только поднимал падавший воротник плаща, ежился и отрицательно качал головой. Баргузинский мужик громово хохотал, травил байки. Палатка наша ходуном ходила. Наконец все стали утихать, только слышно было, как гудят двигатели под палубой.

И вдруг раздался охрипший голос:

— Товарищи, не пустите ли меня?

Это был тот инженер или учитель в шляпе и плаще. И палатка взорвалась хохотом. Конечно, мы потеснились.

Утром Байкал блистал солнцем, белел чайками. По горам ярко густели кедровые леса. Мы с Генкой спустились в ресторан и потратили безжалостно последние денежки на чай с пирожками. А зачем они нам в тайге? Денег-то у нас было в обрез. Наши родные вовсе не в восторге были от этой авантюры. Что за блажь — ехать к черту на кулички? Ладно бы учиться поступили, приобрели какую-то специальность. Но мы и хотели ее приобрести: стать лесниками заповедника. В общем, деньги на поездку мы собирали с миру по нитке. Продали одну палатку и сверхлегкую лодку десантников прямо у магазина спорттоваров «Спартак» полякам. И этого только-только хватило на дорогу. И что же нам, беречь последние рубли? Да мы уже достигли всего, достигли цели, вот наша мечта — пароход, Байкал, горы, тайга. И поднявшись на палубу с копейками в карманах, мы прошли на нос корабля, достали свои трубки, кisetы, неторопливо набили чашечки из какого-то прочного дерева, зажгли спички и закурили, окутывая безбородые лица сладковатым махорочным дымом. Нет, Генка уже отпустил бакенбарды. А вообще мы думали зарости здесь староверскими бородами и когда-нибудь приехать в Смоленск героями романов и рассказов Джека Лондона. Прийти к друзьям на пирушку, содвинуть кружки с пивом и повести неторопливую речь:

— Однако, парни, раз было дело...

И невзначай коснуться огрубелыми пальцами шрама.

Но в заповеднике нас не ждали. Мы туда писали, да нам ответили отказом. А мы все равно приехали. Кто нам мог запретить мечтать? Ну, мы и мечтали на всю катушку. И пылко мечту осуществляли.

Поддатый лесничий, посветив на нас, сошедших на ночной заповедный берег, фонарем, коротко приказал проваливать, а длинноволосому леснику дал поручение проследить за нашей отправкой назад на «Комсомолец», стоявший в сотне метров на рейде. И ушел. Но шлюпка больше не вернулась. И так мы остались на заповедном берегу. Директор, невысокий мужчина с орлиным взглядом и выразительным профилем, Янкус Геннадий Андреевич, отнесся к нам по-отечески. Взял на работу в лесной отдел рабочими, распорядился выдать нам аванс и отправил на Северный кордон.

И началась наша жизнь в заповеднике. Косьба вдоль речек, заготовка дров, *полевые* в тайге, ночевки в зимовьях. На центральной усадьбе была прекрасная библиотека, и я брал там книги, читал по вечерам в нашем жилище-мастерской на самом берегу моря при свете керосинки, слушая шторм или великую тишину. Мы познакомились с местными жителями, среди которых, конечно, выделялся Валера Меньшиков, бывший геолог, а тогда электрик, могучий мужик, заросший староверской бородой. Хотя старовером он не был. Изучал английский, осваивал на гитаре фламенко, писал стихи и штудировал философов древних и новых времен. От него я узнал о существовании Лао-цзы и Чжуан Чжоу и многое другое. Попросту говоря, Меньшиков стал для меня учителем. Мне нравились его стихи и рассуждения о недеянии, созерцании и заповеднике нового типа, в котором бы служили нестяжатели и философы. Родом он был из Баргузина, того самого, где отбывал ссылку друг Пушкина Кюхельбекер. Много странствовал, в молодости отдавал дань Бахусу, портянки носил из мешковины, спал под деревьями на сопках в окрестностях Улан-Удэ и Иркутска, тянул линии электропередач, потом учился на геолога, жил в Крыму, в Воронеже и вернулся на родные берега Байкала. Вот это был истинный сибиряк. Стоило посмотреть, как он неторопливо прилаживает *кошки* к кирзовым сапогам, снимает цепь с широкого кожаного пояса, заводит ее за столб и легко взбирается вверх, до проводов, занимается починкой, а ветер с Байкала раздувает его смоляную бороду, как у Василия Великого. Мы переписывались двадцать с лишним лет потом. Его письма очень поддерживали меня в армии, в афганской провинции Газни. Валера осторожно советовал поступать так-то и так-то в различных — непростых — ситуациях. Присылал стихи. И, главное, настаивал на

одном: во всех обстоятельствах оставаться человеком, ибо человечность — суть нашего бытования здесь.

Присутствие Валеры и на заповедном берегу было сродни камертону. Например, мы с Генкой и остальными рабочими лихо матерились, как это уж заведено. И однажды Валера это послушал и, оглаживая бороду, пошутил как-то, необидно, но умно: насчет колуна-языка что-то... А ведь язык наш не колун? И все, я для себя ввел табу на ругательства (пусть в дальнейшем, в поздние годы при случае и нарушал его). Речь моя очищалась на берегу чистейшего моря. В дальнейшем Меньшиков заочно окончил юридический факультет и переехал в Некрасовский Тарбагатай, где работал судьей. Да, об этом поселке в Бурятии Некрасов и писал:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь, за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит...

Там и сейчас живут так называемые *семейские*, сиречь старoverы.

Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка —
Из соболей воротник!
(...)
— «Где ж та деревня?» — «Далеко,
Имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, за Байкалом...

И точно, однажды Валера прислал фотографию своей жены Лиды: миловидное лицо ее тонуло в собольем воротнике. Валера Меньшиков внимательно следил за моими литературными опытами, помогал советами, присылал книги. А однажды прислал свой дневник, две общие тетради, летопись заповедника, зная, что я подступаю к этой теме.

Мне и до сих пор нравится его стихотворение о Байкале:

Неводит по байкальским глубинам
Голубая рыбацья страда.
Сколько грешников ты погубила,
Чистоты голубиной вода!

Сколько дани за рыбу и водку!
Только нрав на штормах не утих.
Матерщиной луженая глотка
Вновь за фартом зовет молодых.

Хорошо, если рядом товарищ,
Хорошо, что не жаль головы,
Хорошо, омулей отоварив,
Загудеть у веселой вдовы!

Разливай по содружеству кружек
Белой горечи злого вина.
Пусть вдова позабудет про мужа,
Рыбака спеленала волна.

Он не первый за рыбу и водку,
Не последний... И нрав не утих:
Запряженная «Вихрями» лодка
Завтра в море умчит молодых.

Это уж так и было: Байкал забирал зазевавшихся рыбаков. Но никого это не оставило. Моторки выплывали на волнах, катера шли даже в осенний шторм. И однажды рыбацкий катер выбросило на заповедный берег. Все рыбаки уцелели, вышли пешком в поселок, а нас, лесников, попросили помочь колхозу — вытащить лебедкой катер из воды. И мы отправились на моторной лодке в высокую ледяную волну, сами чуть не перевернулись, проходя мимо мыса Валукан. Но вытащить катер не смогли. Трос лопнул. А шторм разыгрался не на шутку, пошел снег. И на неделю мы оказались заперты в зимовье на берегу. Хорошо там было! Печка исправно глотала смолистые дрова, обдавая нас жаром. Мы распивали чай, хрустели галетами, дымили сигаретами, травили байки. Много было рассказов про *хозяина*. Не про медведя — хотя и о нем говорили, — а про того хозяина, который есть у каждого значительного места, есть в каждом зимовье. Ну, мы с Генкой уже знали, что, входя в зимовье, надо поздороваться с хозяином. При входе и в это зимовье поздороваться не забыли. Ага, и только поэтому, заметили нам бывалые ребята, я вовремя отступил в сторону, когда тянули катер лебедкой — и обледенелый трос лопнул, а увесистая стрела пушечным снарядом со свистом полетела и острым концом раздробила плавник, выбеленное солнцем и водой бревно, а не мои ноги, ведь как раз в том месте я и стоял несколько секунд назад.

Да, странные вещи там происходили. Впрочем, происходят они и поныне. Действительность сложна и многообразна и потому пластична для любых истолкований. Чье же толкование самое верное? Сибирских ли охотников, бурятских буддистов, шаманистов или святых наших отцов? А может, атеистов?

На заповедном берегу когда-то жили эвенки, сиречь тунгусы. И там еще сохранилась память о последней великой шаманке Шемагирке. В тайге мы находили одряхлевшие стойбища эвенков. Это был тоже заповедный мир чужих предков. Эвенков здесь осталось двое или трое. Когда-то их центром была бухта Сосновка, там располагалось, так сказать, главное стойбище. В Давшинской долине они кочевали с оленями, охотились. Пока не возникла острая нужда в деньгах: дело шло к войне. Хватились соболей, а их почти выбили здесь, в Подлеморье. В 1914 году и была направлена экспедиция Доппельмаира и Забелина, Сватоша сюда. Решено было учредить заповедник. А тунгусов переселить на север Байкала. И где они сейчас, байкальские тунгусы?

«Не убивай орла, а то все птицы на тебя обидятся», — гласит эвенкийская мудрость...

В один из ноябрьских дней жена Валеры Меньшикова Лида привела к нам знакомиться новичка в заповеднике — рыжую смолянку с яркими веснушками и зелеными глазами.

Можно сказать, в тот вечер и закончилось время нашей юношеской Сибири, и началась другая Сибирь. Но на самом деле все произошло не так быстро, не в одночасье. Да уже что-то было предreshено: наши глаза встретились.

В феврале Генка засобирился домой, хотел перед армией немного пожить в Смоленске. А я не поехал, не в силах оставить Байкал по собственной воле и одолеть зеленоглазых чар нашей соседки.

Весной разыгрались штормы, над хребтами установилось ненастье, и я не попал в армию. А в Нижнеангарск на самолете по устоявшейся погоде полетел уже в мае, не один. Мы расписались в одноэтажном домишке, выйдя, я швырнул по сторонам горсть монет на счастье. В бамовском магазине мы накупили всякой снеди: колючих ананасов, конфет, токайского вина, шампанского. И свадебный «кукурузник» вез нас над морем, по которому еще плавали льдины, вез над кедровыми горами, мы держались за руки и были счастливы.

На свадьбу пришли Меньшиковы с детьми, девчонки с метеостанции, лесничий Троицкий. Были тосты и поцелуи, песни под гитару Валеры. В стеклянных банках стояли жарки, оранжевые цветы.

А летом мы переселились на гору, увенчанную лесопожарной вышкой. Чуть ниже громоздкой вышки из бревен, скрепленных железными скобами, под кедрами притулилась зимовьюшка. Сюда мы завезли на лошади по тропе провизию: много сгущенки, конфет, чая, сухарей и всего прочего. И на этой горе над Байкалом в щебете птиц, клекоте орланов-белохвостов, медвежьем реве и пении скрипок и гуслей ветра проходил наш медовый месяц.

От добра добра не ищут. Все так. А мы — искали. Нас уже поманили легенды друтого озера, иных гор: Алтын-кель, Золотого озера, Телецкого. В Алтайском заповеднике работал старый уже лесник с Южного кордона Оробцев. И он поддержал наше решение поехать туда. Вот ведь как! А сам-то приехал сюда оттуда. Широк человек...

Правда, на нашей горе мы уже и забыли о запросе, poslanном в Алтайский заповедник. Обо всем забыли, вечеряя у костра возле зимовья, спускаясь к истоку речки на рыбалку, озирая с вышки байкальские просторы, собирая цветы на ручье, пережидая грозы... Мы даже гостей там принимали. Однажды к нам на гору взошли давшинцы: Лида Меньшикова с сыном Игорем и дочкой Олей, а с ними и художник Бадма Холхоев, приехавший в заповедник на работу — не картины писать, а тропы чистить, дрова колоть. Хотя и картины он писал. К нам на гору и пожаловал с мольбертом. Я встречал их на реке, и мы к ужину наловили порядочно хариусов. Особенно удачливым рыбаком оказался Игорек. И на горе мы жарили рыбу на рожне, ели горячие спинки, обжигаясь, облизывая пальцы, пили крепкий чай. Дети громко перекликались, смеялись, гонялись друг за другом. Бадма забрался на вышку, установил там на дощатой площадке под навесом, крытым корой, мольберт и писал Давшинскую бухту.

По утрам нас всегда встречал орлан-белохвост, он сидел на высоком пне неподалеку, — дверь зимовья отворялась со скрипом, и орлан вскидывал крылья, но еще не улетал, а пронзительно смотрел — прямо в глаза выходящему, это длилось несколько секунд, и вот он взмахивал тяжелыми крыльями и снимался со своего поста, летел косо к вышке, дальше, выше и уходил к морю, парил в синеве, сливаясь размахом крыльев с далеким размахом полуострова Святой Нос.

Ручей наш пересох, и я спускался к морю за водой, набирал полный резиновый заплечный пожарный бурдюк и карабкался вверх, цепляясь за выступающие корни сосен и кедров. Нина ждала меня, заперевшись в зимовье. С нею оставалась двустволка, да что толку. Она боялась и медведя, и двустволки. И тогда я стал брать ружье с собой. А медведей там было достаточно, с одним я столкнулся нос к носу, наставил стволы, когда тот повел себя агрессивно, с угрожающим ворчанием двинулся на меня, низко пригнув башку, — но от нацеленного ружья вмиг опомнился и ломанулся прочь.

Зимовье у нас было неповторимого вида: на нарах простыни, одеяло в белом пододеяльнике, часы на полке, книги, в банке всегда цветы, зеркальце на столе, транзисторный приемник.

С весны он лежал
В лесу пустом

И даже днем
Не вставал.

И ручейка
Он слышал звон

И песенки
Ветерка.

Ни дрязг и ни ссор
Не ведал он —

И жить бы ему
Века.

*(Ли Бо. О том, как Юань Данцю
жил отшельником в горах)*

Но на запрос наш уже пришел ответ — положительный. Об этом на сеансе радиосвязи с поселком нам сообщила Лида Меньшикова. И мы засобирались в путь... Зачем? На этой блаженной горе мы могли бы жить до осени, даже еще и в сентябре. Поистине это загадка. Впрочем, разгадка может быть простой: молодость жадна до новизны.

В серый пасмурный день мы спустились к подножию горы, дождались моторной лодки, погрузились в нее и двинулись в поселок. Лодка шла как-то медленно — или это уже замедленные кадры памяти? И в чистой воде мы видели проплывающих больших ленивых рыб — ленков.

Хмуро нас провожал Байкал.

И он будет снится, не отпустить...

Ну, а пока мы стремились к водам и видам другим. Распрощались с Меньшиковыми, пошли в «кукурузник», тот задрожал, напрягаясь перед разбегом. В иллюминатор мы увидели на краю взлетной площадки Лиду с детьми, Валеру — и самолет рванул вперед и вверх. Больше мы никогда не увидим наших Меньшиковых. Милая Лида будет мучительно умирать от коварной болезни в Тарбагатае, Валера — в воронежском селе, куда убежит от одиночества поближе к дочери.

«Недавно я вспомнил, что давным-давно меня неприятно „царапнула“ картина (на фото, конечно) „гитарист-бобыль“. Сейчас, вспомнив, я подумал, как предчувствие было», — будет делиться своим одиночеством с нами Валера.

А еще напишет о камертоне. О том, что решил приобрести камертон, а никак не мог отыскать. И позже услышал по радио такую легенду: когда умирал Гёте, в его доме неведомо откуда звучала прекрасная музыка, и тому было много свидетелей. Ну и Валера подумал, что вот хорошо бы и при его кончине — пусть не музыка (не Гёте же!), а какой-то аккорд хотя бы прозвучал... И «накропал виршу»:

В тот год, когда достану камертон,
Точней, не я, а он меня достанет,
И явится, и надо мной протянет
Срединный слог, как похоронный звон.

Тогда ему без страха отзовись,
Душа, и на лазоревом излете

Как бы крылом гитарных струн коснись,
Чтоб музыка вздохнула. Как у Гёте.

Камертон был в конце концов куплен... Не знаю, вздохнул ли камертон в момент кончины Валеры, отозвались ли струны его гитары... Но в моем мире все качнулось. Такого собеседника уже не будет. А «лазоревый излет» — ведь это взмах байкальских чистых красок. Валера о Байкале тосковал.

...Ну, а пока мы с женой добирались до Барнаула, оттуда до Бийска и дальше — до Телецкого озера. Поселок Яйлю, где располагается центральная усадьба заповедника, прямо на берегу озера и стоит. Выкупались мы в теплой воде, закупили муки, подсолнечного масла, крупы, консервов и полетели на вертолете на кордон Чодро.

Дневник я начал вести еще на Байкале, и здесь он будет мне подмогой.

2

Что такое Чодро?

Четыре домика, сараи, подсобки, баня. Все это огорожено и зажато огромными скалами. Из окна нашего старого дома с гнилыми полами, железной койкой и растрескавшейся печкой виден водопад Юл. А прямо у крыльца течет ручей, в нем мы умываемся, из него берем воду, вода очень чистая.

Конечно, при таком жарком климате растительность здесь побогаче, чем на Байкале. У самых скал растет крыжовник, по берегам рек смородина красная и черная, на полянах дикая клубника. Есть облепиха, в тридцати километрах. Свешиваются черные гроздья черемухи.

Река Чулышман широкая, 15–20 метров, с перекатами, холодной и чистой водой. Горы здесь выше и круче, чем на Байкале. В окрестностях много полей с высокой травой и серыми валунами.

Переехали с одного озера на другое — с Байкала на Телецкое. Большой кусок Азии пересекли. Но на самом озере центральная усадьба заповедника, а мы в глубине заповедной территории, на кордоне.

Обживаемся.

* * *

Соседка дала Нине две железные формы и закваску, муку и подсолнечное масло мы купили еще в Яйлю, дожидаясь вертолета. Протопили печь, Нина в формы положила тесто. А я до этого сходил к водопаду и набрал смородины, сварили быстрое варенье. И вот пьем чай, макая горячие душистые ломти пшеничного хлеба в красное кисловатое варенье.

Говорят, здесь раньше жили китайцы и выращивали виноград с арбузами.

А в двух или трех километрах ниже по течению Чулышмана есть развалины первой церкви на Алтае.

Граница с Монголией поблизости.

Рано утром вышел умываться в ручье и увидел толстого темного полоза, пившего, по-моему, из ручья. Полозы живут под полом. А вообще здесь есть ядовитые змеи, шитомордник, гадюка. В Давше не было, там же зона вечной мерзлоты. Все время сравниваем Чодро с Давшой и Северным кордоном. Пуститься в путь сюда нам посоветовал лесник с бородой-лопатой по фамилии Оробцев, он жил на Южном кордоне Баргузинского заповедника.

* * *

На кордоне сумрачный одинокий лесничий, его младший брат, все напевающий «В Вологде, в Вологде-где...», лесотехник Таня, темноволосая, глазастая, молодая; еще семья помощника лесничего, смуглого, черноглазого с заячьими зубами. Еще приеха-

ли трое студентов проходить практику из Новосибирска и Казахстана: светлый высокий голубоглазый Борис и парочка — казах Женька и Рита. Они знакомы все с Таней. И Борис, похоже, влюблен в нее. Но тут младший брат лесничего перешел ему дорогу. Это все рассказывает Нине жена помощника лесничего, которая нянчится с двумя малыми детьми. Лесничий мрачно улыбается Борису.

Начинаем ремонт дома. Пока выкашиваю бурьян в огороде, поправляю забор. Нина ходит ворошить сено, накошенное на конной сенокосилке младшим братом лесничего. Он все ездит на этой сенокосилке и горланит: «В Вологде-где!»

Слушаем транзистор, Улан-Батор, Горно-Алтайск, Пекин. Ну, на самом деле монголов и китайцев не слушаем. Они сами лезут.

* * *

Прибыло пополнение, рабочие лесного отдела Коля и Ваню. Длинный Коля в очках — инженер-строитель, решивший изменить жизнь. Ваню наполовину грузин, маленький, шустрый, веселый. Они как Дон Кихот и Санчо. Готовимся к Большой косьбе.

Через кордон проезжали верхом двое с высокогорного кордона. Буддисты. У них там целая община. Собираются отовсюду, в основном из городов, из Киева, Ленинграда, Москвы. Как сказал нам еще в Яйлю один из них — рыжеволосый и рыжебородый: «Настанет день, и мы все уйдем в Лхасу». — «Как это?» — «А так, достигнем такой степени, что пограничники на границе примут нас за камни». И это он на полном серьезе. Врач из Киева. Узнав, что Нина — учительница химии, начал зазывать нас к себе. Они не хотят отдавать детей на обучение в школу, сами учат, кто чему может.

Буддисты неподалеку от нашего дома развели костер, варили себе похлебку. Уже поздно вечером я подошел к ним, одного звали Петром, длинные черные волосы, борода, старая фетровая шляпа. Пригласили меня отведать кушанья, я отказался. Так, присел к костру. Спросили меня, что я и зачем тут. Ответил. Петр бросил на меня взгляд и сказал: «Ищи, может, у тебя и получится».

* * *

Лесничий с братом выехали на лошадях и к вечеру вернулись с маральим мясом в переметных сумках. Быстро навялили нам мяса на косьбу. И наш табор выступил на покосы. Перебрали реку, прошли по тайге, миновали заброшенную пограничную заставу, вышли к бурной речке, которая впадает в Чулышман. Переправлялись в резиновой лодке на веревке. На высоком ровном берегу этой речки и разбили лагерь. Нина поварила. Все остальные косцы. Маралье мясо очень вкусное в супе, каше. Помощник лесничего спит в отдельной палатке. Остальные в большой общей. Мы с Ниной в своей, купленной по дороге сюда в Турочаке. Очень жарко. Косьба трудная. Трава редкая, сухая. Шмыгают змейки порой. Мне на голову села птица. Но хотя бы нет мошкары и комаров. Нет поблизости стоячих вод. Косьба на Байкале — суший ад. Мошкара одолевает. Но трава там гуще.

У помощника лесничего пистолет.

Приехал лесничий и забрал брата. Говорит, ему необходимо быть на кордоне, с Таней, пока там эти студенты. Все отнеслись с пониманием.

На том берегу бляенье, шум. Прикочевало стадо. Пастухи-тувинцы.

Заканчиваем косьбу. Снова приезжает лесничий. С бурдюками браги. В честь окончания сенокоса будет пир. Нина готовит мясо. И вечером все усаживаются. Лесничий лишь одну кружку осушил и уехал. А остальные продолжают. Веселье разгорается. Ваню пляшет. Строитель Коля все зыркает на Нину. Смех, шутки. Затемно мы уходим в свою палатку, укладываемся. А там все продолжается.

Вдруг мы просыпаемся от воплей, беготни. Строитель Коля с рычанием пробегает мимо нашей палатки, а остальные его ловят. Топот. Земля гудит. Наконец Колю скрутили. Мат утихает. Все.

Ночью по костру, когда все утихомирились, выстрелили с того берега. Пулю утром нашли в золе. «Это пастухи-тувинцы», — сказал помощник лесничего. Но когда мы переправляемся на тот берег, там уже никого нет. Откочевали. У строителя вид виноватый. Все помятые. У Ваню под глазом фингал. Он грустно улыбается.

* * *

На Байкале весной я не смог улететь в Нижнеангарск, в военкомат, когда шел призыв. Погода была нелетной, а ледовая дорога уже стала опасной. Так и получил отсрочку до осени. Сейчас август. Мы на Алтае. Но и здесь призывают в армию. Хотя лесничий и говорит с сумрачной улыбкой, что, может, лучше отсидеть, чем служить. Не удивлюсь, если он все-таки сидел. Я-то не собираюсь, пойду служить. А Коля шутит: «Да-да, мы тебя проводим в армию! И будем оберегать твою жену, как истинные евнухи, ага, Ваню?» В трезвом виде Коля вполне интеллигентен. Ваню льбится. Куда его Коля, туда и он. Неразлучные. На Большой земле у Коли семья. Сюда он прибыл на разведку. Обустроится и всех перевезет.

В конце августа собирается отряд в сторону цивилизации: студенты, сынишка лесничего.

И мы решаем к ним присоединиться. Возвращаемся на запад.

* * *

Утром вышли. Нас сопровождает Таня с лошадей. На лошади студенческие рюкзаки. Свой рюкзак я несу сам. Нам не предложили погрузить его на лошадь. Переправились через Чулышман и пошли вверх. Тропа петляет среди сосен и лиственниц. На перевале деревья и кусты в тряпочках, как какие-то новогодние елки. Алтайцы делают приношения духам. Мы посмеиваемся. Никто ничего не оставляет. Никто не собирается возвращаться, кроме Тани. Студенты к ней не приедут, они обижены за ее выбор. Выбор пал на младшего длинноволосого смазливового брата лесничего. Это уже всем известно. Крупные глаза будущего металлурга Бориса — он учится во ВТУЗе на пятом курсе — грустны. Но и его дружок казах Женька хорош, ехидно напевает: «А я стою, чего-то жду, / А музыка играет и играет. / Безумно я люблю девочку ту, / Которая меня не замечает. // Остановите музыку, остановите музыку...»

Таня спокойна. Иногда она едет верхом, иногда усаживает сына лесничего. Но скоро я начинаю отставать со своим рюкзаком. Мы с Ниной все чаще отдыхаем одни. Сидим на корнях, слушаем птиц. Наконец кто-то предложил рюкзак погрузить на лошадь. Так и поступаем. Теперь идем вместе.

Вдруг вышли из тайги. Перед нами — простор, степь, за ними горные вершины в снегу. «Уже снег!» — воскликнула студентка. Мы все смотрим туда. Да, белейшие вершины. Такое впечатление, что мы где-то на крыше мира.

По степи идти легче. Дорога набита стадами. Вскоре и видим стадо лошадей. Заметив нас, пастухи не подъезжают, лишь гарцуют, что-то кричат. Мы идем дальше и слышим позади выстрелы. Диковатые ребята. Или у них так принято. Интересно, как Таня будет одна возвращаться?

На ночь подъезжаем к стоянке пастухов. Деревянный обширный дом без окон. Костер разводим прямо внутри на куске железа. Печь разбита. Мы с Ниной расстилаем палатку, раскатываем спальники. Едим хлеб, пьем чай. У нас больше ничего нет. Остальные побогаче, но почему-то не делятся. Да и ладно.

* * *

Днем остановились у ручья. Мальчишка кочевряжится, не хочет есть то, что предлагают. И вообще выламывается. Огрызается на Бориса. Тот дает ему подзатыльник. И мальчишка на него кидается, потом пытается убежать. Мы его хватаем. Борис орет на него, замахивается. «Что? что? да? Да? Получил? Выкуси!» — орет сынишка лесничего. Таня пытается его уговорить. Борису-то наплевать, а ей возвращаться и жить

с младшим братом лесничего. Похоже, будь воля Бориса, он бы всыпал хорошенько мальчишке. словно перед ним сам лесничий. Ведь это он все устроил.

А мальчишка очень крепкий. Мы его с трудом удерживали.

И тут на дороге — той, по которой стада гоняют, — показался всадник. Свернул и неспешно подъехал к нам. Алтаец. Лет сорока. В лесной одежде. У седла карабин. Мы все с ним поздоровались. Он не ответил. Молча сидит и разглядывает нас внимательно. Всех. Студентов, Таню, Нину, меня, мальчишку. Нашего коня. Мы уже ничего не говорили. И он все молчал. Посмотрел, повернул лошадь и поехал прочь.

«Такие у них привычки», — сказала Таня.

Видно, что ей нравится все, по душе такая жизнь. Она любит ездить верхом. Щеки румянятся, карие глаза блестят. Фигура красивая.

* * *

Отряд наш прошел степью, временами входя и в тайгу, и достиг поселка Улагана. Остановились у местного лесничего, Таня его знает. Жена лесничего крайне недовольна нахлебниками. У нас с Ниной денег нет. Постимся. Чтобы не торчать в доме лесничего, идем по поселку. Крупный поселок. Всюду собаки, куры, лошади. Трещат мотоциклы. Русских мало. Все алтайцы. «Давай продадим часы», — сказала Нина. «Часы?» Она снимает свои позолоченные часы. Ходят отлично. И мы предлагаем первому встречному алтайцу часы. Тот крутит головой. Нет. Подходим к дому, там за оградой женщина, алтайка. «Купите часы». Отвечает по-алтайски. А ведь наверняка понимает по-русски. Какой-то русский парень. Предлагаем ему. Разглядывает, спрашивает цену. Нет, дорого. Но и нам нужны деньги, позарез! Эх, эх.

Начинается дождь. Улицы сразу тонут в грязи. Выходим к речке Башкаус: несется мутные воды уже вровень с берегами. А где-то поблизости Пазырыкские курганы. Правда, золота там не нашли, а только древний персидский ковер. Я в сапогах. Нина в тапочках. Переносу ее на руках через лужи. Грязные, возвращаемся в дом лесничего с медвежьей шкурой. Здесь хотя бы тепло, пусть и все настроены недружелюбно.

Но тут случилось чудо.

Да, бывают чудеса.

Лесничий купил часы за сорок рублей! Мы — шейхи!

И все изменилось. Студенты предлагают нам конфеты, участливо расспрашивают. Жена лесничего тоже смотрит мягче. После дождя я бегу в магазин, а он уже закрылся. Но жена лесничего зовет нас к чаю.

На следующий день уезжаем на попутном грузовике на Чуйский тракт, в Кош-Агач.

* * *

Всего-то и надо — четыре червонца, и ты — человек. На тебя смотрят с улыбками. Уважают.

Долгая езда по трясучей дороге. Снова видели горы в снегу. Наконец прибыли в Кош-Агач. Нам он показался огромным городом. Поселились в гостинице! Горы подступают прямо к домам. Накупили всякой еды, консервы, хлеб, печенье, даже зефир. Сыр. Студенты чуть ли не расцеловываются с нами, зовут к общему столу. «Остановите музыку, остановите музыку, чу-ча-ча-ча! Прошу вас я, прошу вас я...»

Без сожаления прощаемся с этими попутчиками. Катитесь трактом! Это уже в другом поселке на Чуйском тракте, в Акташе мы гуляли с Ниной, дожидаясь своего рейса на автобусе, и стали свидетелями ругани алкаша со своей подругой. «Дуй по тракту!» — крикнул он ей.

* * *

Ночевка в Акташе. Автобус довез нас до Горно-Алтайска. Горы и пропасти. Внизу блестела Катунь. В Горно-Алтайске снова в гостиницу. Дожди. И я ношу Нину на руках. Купили ей обувь. Поехали в Бийск. Оттуда дальше. Река Бия.

Отсюда родом Шукшин Василий Макарович. Так что я приобщился.

Приехали в Артыбаш. Спим прямо на берегу Бии, в деревянной беседке турбазы. Круг завершили. Вместо двухсот километров сделали примерно семьсот. Туда — на вертолете, оттуда на перекладных.

До центральной усадьбы заповедника — Яйлю — осталось сорок минут плавания на теплоходе по Телецкому озеру.

Такое впечатление, будто это мы, а не те ребята с высокогорного кордона побывали в Лхасе. Снега на вершинах там, видимо, точно такие же. И на дорогах косматые яки.

* * *

Получили расчет. Но путь далекий. И тут увидели на улочке Яйлю знакомое раскосое лицо байкальского рабочего Валеры Сонникова. Улыбки, объятия, расспросы. Он тоже подался из Давши сюда. Пока ему нравится. Хотя, наверное, и здесь он не останется. В этом месте в узких калмыцких глазах Валеры засквозила какая-то тоска. Но зиму он хочет здесь пересидеть. «Да я вам дам денег», — сказал он. «Мы пришлем», — ответили мы хором. Он махнул рукой. «Да если и не пришлете... Я привык».

Хмельной местный бугор попытался задираться и учинить драку со мной, но Валера сказал: «Это же мои байкальские ребята...» Бугор вмиг подобрел. «А, ну так бы сразу и сказал».

Но лицо он нашел кому расквасить — одному уволившемуся научному сотруднику. Тот пришел в бревенчатую нашу гостиницу с разбитым носом, ругался, грозил, что подпалит весь мир здесь, а этого бугра утопит в Телецком озере. Был он нетрезв.

На следующий день мы разомкнули этот круг.

3

Чтобы попасть в другой, хочу я заметить из своего круга последнего времени. А вот удалось ли это сделать тем буддистам с высокогорного кордона, неизвестно. А разомкнули мы круг, прихватив все-таки и ключ верный от него — засушенные эдельвейсы. И теперь стоит лишь достать из конверта этот цветок, как Алтай оживает: почти отвесные стены вокруг Телецкого озера, застывшая — а на самом деле грохочущая нитка — водопада Юл, что был виден из нашего окна в Чодро, табуны алтайцев, заснеженные — уже почти китайские — вершины гор...

Некоторое время мы жили *на западе*, как все говорили — и, наверное, говорят? — в Сибири, в Колокольне в ста семидесяти километрах от Москвы. А думали все и говорили о Сибири. И не утерпели, снова отправились на Байкал, теперь уже на Южный Байкал, в Танхой, в Байкальский заповедник. И это снова было вопреки житейской логике: уехали мы зимой, а весной меня призвали в армию. Но мы видели застуженный Байкал, засыпанные снегом горы Хамар-Дабана, жили среди мощных кедров, готовились к встрече с Меньшиковыми, обитавшими пока на севере этого моря, — да так и не встретились...

И весной окраины Танхоя тонули в черемухах, окутывая облачками стопы серых морщинистых тополей, уходящих царственными колоннами в небо. Здесь уже чувствовалось какое-то неуловимое влияние Дальнего Востока, Монголии, Китая. В поселке на речке Выдриной, впадавшей в Байкал, мы познакомились с бабой Мариной, бодрой и умной, в очках с толстыми линзами, поившей нас чаем с вареньями и рассказывавшей всякие житейские истории. В ее бане мы парились. И после бани снова распивали чай, разглядывая фотографии на стене под стеклом. Говорила она, что видела писателя Распутина, то ли здесь, на речке Выдриной, то ли в поселке Выдрино, где и был всем известный Байкальский ЦБК. Наверное, Валентин Григорьевич приезжал туда — во вражеский стан — для того, чтобы воочию убедиться в том вреде, который прино-

сил сей монстр. Хотя сделать это было не так просто. Помните фильм «У озера»? Как там подносили экспертам стакан с водой ЦБК, прошедшей очистку? То-то и оно. В Выдрине я бродил по прямым длинным улицам, выходил к очистным сооружениям и обонял мерзостный дух. Местные рыбаки плевались и матерились и уходили на ловлю в другие места. Многие жители комбинатов хвалили — за рабочие места.

А мне вспоминается, как баба Марина рассказывала одну эвенкийскую сказку. Вот она.

Один охотник далеко забежал за зверем, что очутился в местах неизвестных. Смотрит: болото. Он был, конечно, охотник знатный, сильный — раз! — и перемахнул через болото.

А на той стороне увидел маленьких людей верхом на зайцах. Это были вечные люди. Вечные-то вечные, но и на них пришла напасть: кровожадный соболь завелся, резал их зайцев. Охотник тут же взялся помочь им. И убил того соболя.

В награду вечные люди пообещали привезти в его стойбище живой воды.

Охотник вернулся к своим, все рассказал им. Те обрадовались. Ждут-пождут вечных людей делегацию.

И раз женщины собирали у стойбища ягоды — глядь: едет вереница — маленькие люди верхом на зайцах. И те женщины давай смеяться. Чудно это им показалось. А это были вечные люди. Осерчали они сразу, из берестяной посуды живую-то воду и выплеснули, и та попала как раз на ель, кедр и сосну, так что и до сих пор эти деревья вечно зеленеют. А корабль с остатками живой воды вечные люди на обратном пути уронили. Так и появилось море-озеро — Байкал.

И тут мне хочется сказку продолжить.

Нам бы радоваться да беречь его. А мы — губим да спорим: выгодно или невыгодно отраву пускать в живые воды.

И вечные люди над нами смеются.

...В конце концов мы вернулись в смоленские края. Но вот интересно, личный идеальный пейзаж, обретенный здесь, открывается деревней Долгомостье. Как раз в Долгомостье и останавливается пригородный поезд, отсюда и начинаются тропы — до самого Загорья Твардовского.

В Сибирь, как было уже сказано, отправился я по стопам предков. Значительно позже мне поведал про то умерший дядя. Он писал: «С покаянным чувством запоздало исполненного сыновнего долга пишу эти строки спустя 35 лет, отыскав его последнее пристанище на глухом деревенском кладбище».

Дядька мой Виктор Павлович Исаченков, смоленский журналист, танкист, прошедший до Берлина и там раненный, передал перед смертью своему сыну фотографии, записки, схему, родословное древо и поэму о сибирском селе в Красноярском крае, тот вручил все мне. И так я узнал про его вояж и про своих предков.

Дядька занялся изысканиями основательно: поехал в отпуск в Сибирь.

Когда-то туда отправился житель смоленского села Каспля Павел Фомич Исаченков (мой дед), ветеран Первой мировой. Жить с красавицей женой Ефросинией (моей бабкой) в Каспле ему уже было невмочь: ревность одолела. Были к тому веские причины или нет, кто знает. Поехал он по старым следам. В девятнадцатом веке туда откочевал его отец (мой прадед) Фома Дементьевич с супругой (моей прабабкой) Дарьей Гавриловой. В Соколовку Красноярского края. Это старинное село возникло в 1715 году на месте поселения беглых раскольников из Смоленской губернии братьев Олсуфья и Герасима Соколовых. Так что и прадед мой Фома Дементьевич ехал, в свою очередь, по старинному смоленскому следу. Был ли он старовером, неизвестно.

Павел Фомич ушел на Вторую мировую, воевал, был ранен, писал в Касплю детям стихотворные письма, но все-таки после войны и госпиталя вернулся туда же, в Сибирь.

И дядьке предстояло отыскать его могилу и могилу Фомы Дементьевича. Пришлось поколесить по Красноярскому краю, заехать в Иркутскую область, чтобы повстречаться с сибирской родней, разузнать подробности. В итоге: «Затесал под пирамидку / Смоляной листоватый краж, / Прикрепил дощечку-плитку — / Скромный памятник наш», — как пишет дядька в своем стихотворном отчете о поездке. Это была могила Павла Фомича. А к могилам Фомы Дементьевича и Дарьи Гавриловны пришлось уже по тропе таежной добираться до бывшей деревни Верховской. Там замшелые кресты в траве среди тайги... Да, хорошее название для сибирского кладбища — Верховское.

А старый тракт от Канска называется «На Долгий Мост». За деревней Долгий Мост похоронена дочка прадеда. Всех их дядька помянул на месте из своей дорожной солдатской фляжки: «На помин глоток из фляжки, / Горсть конфет на бугорок, / А взамен земли в бумажку / Завернул щепоть в кулек».

Дед Михаил, сын Фомы Дементьевича, пошел на охоту и без вести сгинул в тайге...

Долгий Мост там, в Сибири, и Долгомостье здесь, на Смоленщине. Соединил обе деревни Виктор Павлович Исаченков.

С Александром Трифоновичем Твардовским он встречался как журналист областной газеты, а потом и радио. И свой стихотворный отчет о поездке в сибирскую Соколовку и Долгий Мост он писал, конечно, под теркинский стих. Иногда совпадение буквальное: «Сам приблизясь к жизни краю, / Память о тебе храня, / Мой отец! За что, не знаю, / Я прошу: прости меня». У Твардовского обращение не к отцу, а к матери-земле: «Мать-земля моя родная, / Ради радостного дня / Ты прости, за что — не знаю, / Только ты прости меня!..» Фронтовик Виктор Павлович почитал Александра Трифоновича как бога.

Дядька пишет: «Соколовка, Соколовка — / Старый тракт на Долгий Мост, / За околицей в сторонке / Пригорюнился погост».

А мимо моего Долгомостья проходит самая древняя смоленская дорога — Еленевская или Ельнинская, хожу я по ней с отрочества в леса, на речки и холмы полюбившейся на всю жизнь местности. У Твардовского об этой дороге дивная строчка: «Дымный дедовский большак».

Теперь для меня в этой строчке и сибирские деды встают. И я им кланяюсь.

Сибирские деды как те вечные люди эвенков. Их обиталище — Сибирь небесная. Уже четвертая по счету? Первая была юношеской, вторая — любовной, третья — терпящая бедствие. И здесь можно переиначить Рериха, сказавшего, что поверх всяких россий есть одна незабвенная Россия. То же и Сибирь — одна, великая, обещающая волю, Сибирь Ермака и первопроходцев, Сибирь Аввакума и страстных староверов, Сибирь тунгусских сказаний, нимнгаканов. Кстати, в чем-то они перекликаются с былинами, только вместо коней, напускающих озера, ломающих дубравы, здесь олени, скачущие тяжело, с грохотом и треском. А так все то же: красавицы с шелковыми косами и солнцами в глазах, богатыри, ловящие лося, как паука, за лапки и разрывающие его тут же; многодневные обильные пиры, сон от трех до тридцати суток; превращения в птиц, вбивание врага в землю. Но вот главное отличие — по крайней мере, прочитанных сказаний — они вертикальны, тогда как русские былины горизонтальны. Эвенкийские богатыри опускаются в Нижний мир и поднимаются в Верхний, где берут себе в жены дочерей солнца.

Серебряный — у эвенков любимый эпитет, символ красоты. Интересно, что не золото, которым полны были сибирские горы. «Серебряные лыжи», например, не из серебра, а просто красивые.

Любопытно описание рождения ребенка: его надо поймать. Эвенкийки рожали стоя, держась за перекладину. Повитухи помогали. Здесь тоже помогает бабка, выписанная

из Верхнего мира, но младенец все же шлепается на подстилку из травы и пускается в бега, за ним гоняются по всему жилищу, бегают вокруг очага; наконец он готов уже выскочить вон, но тут на выходе появляется его отец-богатырь, хватает ребенка и крепко прижимает.

Эти сказания записывал в тетрадку последний из могикан — нимнгакан — Николай Гермогенович Трофимов, оленевод, при свечке, в палатке, уже будучи смертельно больным. Когда во время очередного приступа его доставили в Алдан в больницу, он умер на операционном столе; при нем была эта тетрадка с адресом ученых в Якутске. Мне довелось прочитать их только теперь, когда я путешествую в Сибирь лишь в снах да помыслах. Сказания эти дарят ощущение свежести, высоты. Это путь по трем Сибирям — Сивирям на языке эвенков — снизу вверх — в Сибирь небесную.